

Р. А. БУДАГОВ

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Научно-популярный очерк

2-е, дополненное издание

Издательство
«Добросвет-2000»
Москва · 2003

УДК 801
ББК 81.2
Б 90

Второе издание к печати подготовила *А.А. Брагина*

Будагов Р.А.

Б 90 Слово и его значение. 2-е изд. — М.: Добросвет-2000, 2003. — 64 с.

ISBN 5-94119-017-4

Научно-популярный очерк уже своим названием жанра говорит о стремлении автора обратиться к самому широкому кругу читателей — школьнику, студенту, любому читателю, испытывающему интерес к своему языку. И более того: заинтересовать тех, кто о своем языке никогда и не думал. Интерес к языку пробуждает (и, может быть, пробудит) интерес и к собственной речи, к ее истории, литературе, культуре. Именно на это надеялся автор.

Настоящее издание адресовано широкому кругу читателей — от старшеклассников, студентов и преподавателей-специалистов до просто любознательного читателя.

УДК 800
ББК 81.2

© Р.А. Будагов, 2003 г.

ISBN 5-94119-017-4 © Оригинал-макет издательства
«Добросвет-2000», 2003 г.

Оглавление

<i>К читателю второго издания</i>	4
1. Как устанавливаются значения слова	6
2. Смысловой центр слова	17
3. Термин и его отличия от слова	21
4. Конкретные и абстрактные смыслы слова	24
5. Как слова изменяют свое значение	30
6. Новое и старое в лексике	33
7. Поиски нужного слова	39
8. Внутренняя структура слова	42
9. Устойчивые сочетания слов	51
10. Свое и чужое в лексике	55
11. Словарь-указатель имен, упомянутых в тексте очерка	59

К читателю второго издания

Научно-популярный очерк Р.А. Будагова (1910–2001) преследует две цели. Но это не два зайца: погонишься за двумя — ни одного не поймаешь! В нашем случае обе цели взаимопереплетены, взаимообусловлены, их трудно разделить. Но попытаемся сделать это ради ясности.

Задумавшись над значением слова, его многозначностью, мы обогащаем свои знания о языке. Может быть, даже захочется посмотреть в словарь и сознательно выбрать нужное слово для своей речи, для своего письма. И, тем самым, мы с чувством и толком будем «рисовать свой речевой портрет (автопортрет)». А обратная сторона этой работы — внимание к возможностям собеседников, слушателей, читателей. Приобщаясь к культуре речи, мы приобщаемся к умению слушать и читать, говорить и писать со вниманием к своим же собеседникам.

Сейчас модно читать Достоевского. Однако важен не только сюжет, т.е. то, что написал автор, но и как написал: *как* автор вводит читателя в сложную жизнь Карамазовых. И ведет от слова к пониманию образа, чувства, мысли. Сначала словом создан мир человеческой жизни, а потом, читая, мы входим в этот мир, постигаем его. Зачем? Может быть, чтобы стать гуманнее...

В пору страшной трагедии Чернобыля, о которой нельзя забывать, академик-химик В.А. Легасов напоминал: целое поколение ученых и техников не опирались «на плечи Толстого и Достоевского». И слабеет связь между образованием и сознанием. А ключ к открытию такой связи в слове, в его значении. Выбор слова только в приветствии уже может и ранить, а может и согреть. Хватит слов в русском языке на всё — на доброе, умное, правдивое, точное, даже если в нем будет и что-то горькое.

«Меня долговременное в российском слове упражнение о том совершенно уверяет». Этими справедливыми словами М.В. Ломоносова заключает автор свой очерк.

А. Брагина

1

Как устанавливаются значения слова

Мы обычно не задумываемся над вопросом о том, что такое слово. Только тогда, когда нам попадается в книге какое-нибудь незнакомое название, мы либо обращаемся к словарю, либо просто стараемся угадать по контексту смысл непонятого слова. Мало кто интересуется теорией слова, проблемой его значения. Больше того, мы обычно даже не подозреваем, сколько слов своего родного языка мы знаем. Между тем все эти вопросы имеют не только лингвистическое (специально языковое), но и общеобразовательное значение; они должны интересовать всякого, кому не безразличны судьбы языка, кто стремится к ясности и четкости своего изложения, яркости и выразительности своей речи.

Сколько же слов родного языка мы знаем? Это совсем не праздный вопрос, он поможет установить не только наше знание родного языка, но и нашу общую осведомленность, нашу начитанность, круг наших интересов. Проведем такой простой эксперимент. Раскроем первые страницы 1-го тома четырехтомного «Толкового словаря русского языка» под редакцией проф. Д.Н. Ушакова. Пропустим то, что приводится в словаре для объяснения буквы и звука *a* в их разных вариантах, и начнем с первых слов русского алфавита. На странице третьей найдем следующие слова:

«абажур, абаз, абака, аббат, аббатисса, аббатский, аббатство, абerrационный, абerrация, абзац, абиссинский колодец, абитуриент, абонемент, абонементный, абонент, абонентный, абонированный, абонировать, абонироваться». Такие слова из этого списка, как «абаз» и «абака» окажутся неизвестными даже многим интеллигентным людям, различие между «абонементный» и «абонентный» представится нечетким, а контуры таких понятий, как «абитуриент» или «абиссинский колодец», обрисуются не совсем ясно. Если теперь мы рассортируем эти слова так, что на одной стороне окажутся совершенно понятные слова, а на другой — недостаточно ясные и совсем неизвестные предметы и понятия, то для большинства интеллигентных людей пропорция получится приблизительно следующая: из 19 слов первой колонки первого тома словаря лишь 13 слов будут понятны, остальные окажутся либо вовсе непонятными, либо недостаточно понятными наименованиями. Проведя такой же эксперимент 20—30 раз и раскрывая наугад в разных местах разные тома этого словаря, мы можем установить по среднеарифметическому принципу количество известных и неизвестных нам слов-понятий родного языка. Если же принять во внимание, что в конце каждого тома указана общая цифра заключенных в нем слов, а всего в четырех томах лексикона приводится свыше 100 тысяч слов, то каждый сможет установить, каким словарным богатством

он владеет, каков его активный и пассивный запас слов, каковы его общие познания.

«Толковый словарь» под ред. Д.Н. Ушакова включает, однако, отнюдь не все слова русского языка. В этом легко убедиться, сравнив, например, его первую же страницу с первой страницей «Толкового словаря» Даля, который широко представил в своем лексиконе народные и диалектальные слова и выражения. Поэтому в первой же колонке первой страницы далевского «Словаря», наряду с теми же «абаз» и «абака», читатель находит и такие, мало кому известные, наименования, как «абаим», «абанат», «абраган», «абевега» и т.д. Количество непонятных читателю слов быстро увеличивается. Если он присмотрится к каждому неизвестному ему слову, он поймет насколько богат и разнообразен лексикон его родного языка. А это даст возможность всякому задуматься и над проблемой значения слова. Легко понять: чем образованнее человек, чем шире круг его научных интересов, тем обычно и обширнее его словарь.

Слово прежде всего многогранно, многозначно (полисемантично). Даже такие простые слова, как, например, «стол», «соль» или «муж», уже дают нам возможность убедиться в этом. *Стол* это не только определенный вид мебели с определенным назначением, не только специальное приспособление, за которым работают или едят, но и сама еда (ср. «в этом санатории хороший

стол»). *Соль* это не только продукт, употребляемый в пищу, но и «суть», квинтэссенция чего-нибудь («в чем соль его выступления?») и даже «остроумие» («Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор» — «Евгений Онегин»). *Муж* это не только супруг, но и мужчина в зрелом возрасте («наконец я слышу речь не мальчика, но мужа») и деятель на каком-нибудь общественном поприще («ученый муж») и т.д.

Невнимание к проблеме многозначности слова часто приводило к глубоко ошибочным заключениям. В свое время известный ученый Ломброзо, например, в книге «Гений и безумие» попытался поставить знак равенства между словами *гений* и *безумец* при помощи таких рассуждений: *безумный человек* — ненормален, но и «гений — это тоже необычный, следовательно, ненормальный человек», поэтому *гений* и *безумец* — идентичные понятия. Ломброзо рассматривал понятие «ненормального человека» догматически; он не учитывал, что по отношению к гению «ненормальный» имеет совсем другое, резко отличное значение, чем в применении к безумцу. Не посчитавшись с многозначностью самого понятия «ненормальный», Ломброзо пришел к выводам, противоречащим действительности.

Итак, слово прежде всего многозначно. Но если так, то как же люди понимают друг друга, как они устанавливают, в каком значении употребляется то или иное слово? Обычно мы употребляем

слова в определенном контексте, в определенном словесном окружении. Когда мы говорим «о соли выступления Иванова», никто из нас не думает о продукте, употребляемом в пищу, а когда мы пробуем слишком соленый суп, то *соль* выступает в нашем сознании именно в этом последнем значении. Когда мы жалуемся на то, что наш *стол* слишком мал для занятий, мы разумеем письменный стол, когда же мы советуем больному перейти на диетический *стол*, мы употребляем это слово уже в значении еды, питания.

Таким образом контекст, окружение, в которое попадает слово, придает ему точное значение. Как бы ни было многозначно слово, в тексте, в речевом потоке, в диалоге оно получает обычно совершенно определенное значение. Контекст устраняет полисемию (многозначность) слова, всякий раз реализуя его лишь в определенном направлении. Больше того, контекст может захватить слово, надолго предопределить его значение. Внимательно просматривая, например, оглавление «Братьев Карамазовых» Достоевского, мы можем заметить следующее: книга первая называется «История одной семьи». Затем идут главы: «I. Федор Павлович Карамазов; II. Первого сына спровадил; III. Второй брак и вторые дети; IV. Третий сын Алеша». Когда мы читаем название второй главы «Первого сына спровадил», а затем и последующих, то мы невольно воспринимаем название этих глав как бы на фоне на-

звания и содержания первой главы. Если первая глава называлась «Федор Павлович Карамазов», то последующее, несколько неопределенное название — «Первого сына спровадил» — кажется неопределенным (кто спровадил?) лишь до тех пор, пока мы мысленно не соотнесем название этой главы с названием первой главы («Федор Павлович Карамазов»). Глагол в названии второй главы («спровадил») перекликается с субъектом первой главы (Федор Павлович Карамазов), образуя единую смысловую цепь широкого контекстного целого, которую не разбивает материал, составляющий содержание всей первой главы. Соответственно этому и название третьей главы («Второй брак и вторые дети») через посредство второй главы примыкает к тому же субъекту первой главы (Федор Павлович Карамазов). Связь оказывается звеньевая. Воздействие названия первой главы на смысл названий последующих глав оказывается мощным и определяющим. Подобное же построение мы обнаруживаем, например, в заголовках V, VI и VII глав четвертой книги этого же романа: «V. Надрыв в гостиной»; «VI. Надрыв в избе»; «VII. И на чистом воздухе». Последнее название («И на чистом воздухе») получает смысл лишь на фоне предшествующих наименований («Надрыв в гостиной»; «Надрыв в избе»).

Таким образом контекст определяет семантику (значение) слова не только в пределах одного предложения, — это лишь простейший и наиболее

типичный случай, — но порою контекст одного словесного сочетания воздействует на семантику другого или даже других словесных сочетаний, ус-танавливая или уточняя их смысл, их общее или частное значение.

Конечно, контекстное значение слова часто совпадает с обычным осмыслением этого же слова в независимом, внеконтекстном положении. Но этого совпадения может и не быть, особенно в языке художественной литературы, в котором семантика отдельных слов очень часто обростаёт дополнительными оттенками смысла, возникающими у большого писателя в процессе восприятия действительности и художественного отбора фактов и явлений. В рассказе Чехова «Дама с собачкой» мы находим такую характеристику семейных отношений главного персонажа повествования — Гурова: «Его женили рано, когда он был студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, *с темными бровями*, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, боялся ее и не любил бывать дома». Само по себе выражение «темные брови», казалось бы, скорее могло служить писателю для того, чтобы подчеркнуть красоту лица изображаемой женщины, а не ее уродство. Но в дан-ном контексте это выражение, этот штрих ина-

че располагает краски: на некрасивом лице мужеподобной женщины «темные брови» подчеркивают лишь неженственность и грубость. Этот смысл выражения «темные брови» оказывается здесь настолько органичным, настолько очевидным, что и впоследствии, уже совсем в другом месте рассказа, вновь возвращаясь к характеристике жены Гурова, которой были чужды и непонятны лирические раздумья мужа, Чехов замечает: «жена только шевелила *темными бровями*». В портрете этой женщины «темные брови» приобретают тем самым особое значение. Художник отходит от обычного смысла словосочетания (ср. «красавица с темными бровями»), он переосмысляет его, иначе акцентирует. Однажды выступившие в отрицательной характеристике, «темные брови» и в дальнейшем повествовании, уже как бы сами по себе, начинают оттенять не красоту лица, как это обычно бывает, а его неизящество и неодоухотворенность. Эта контекстная семантика выражения тонко используется Чеховым: разрушая шаблонный смысл словосочетания и придавая ему новое значение, помогает писателю создать запоминающийся образ.

Контекст действительно следует понимать широко. Так называемая социальная окраска слов есть также своеобразная разновидность контекста, определяемая, однако, более глубокими общественными условиями восприятия слова. Конечно, когда мы произносим такие слова, как

комната или *лампа*, мы не замечаем социальной окраски слова, но стоит нам перейти к таким понятиям, как, например, *демократия*, *идеология*, *буржуазия*, *социализм*, *коммунизм*, *пролетариат*, *класс* и т.п., чтобы сейчас же ощутить зависимость содержания этих слов от того, кто и как их произносит, кто и как их интерпретирует. Уже Шекспир устами Тачстона («Как вам угодно», V, 1) заметил, что в английском языке слова «благородные» передаются французскими основами, а «грубые», «мужицкие» — саксонскими, а в XIX веке в романе «Айвенго» Вальтер Скотт подчеркнул, что, пока за домашней скотиной присматривают крестьяне, она называется по англо-саксонски, когда же эту скотину закалывают и подают в различном виде на стол господам, она начинает величаться по-французски: *swine*, англо-сакс. свинья, *ox*, англо-сакс. бык, *sheep*, англо-сакс. овца, но *porc*, фр. свинина, *beef*, фр. говядина, *mutton*, фр. баранина. И это становится вполне понятным, если вспомнить, что на протяжении двух столетий (XII—XIII века) французский язык был широко распространен на правах литературного языка среди английской аристократии.

Острая борьба вокруг социально-политической терминологии развернулась в XVIII веке во Франции. Передовая буржуазия того времени выдвигает новое, граждански-демократическое истолкование таких понятий, как *отечество* (*patrie*),

республика, конституция, иерархия, революция и т.д. Совсем в другую эпоху, через сто лет, в связи с развитием рабочего движения в России, разгорается новая острая борьба вокруг социально-политических терминов. Старое буржуазное их истолкование теперь уже становится реакционным. В результате в советском обществе складывается совсем иное понимание таких слов, как, например *буржуазия* и *пролетариат*, *идеализм* и *материализм*, *социализм* и *коммунизм* и т.д. и т.п.

Но если социальная окраска слова обусловлена различием в мировоззрении, то профессиональная окраска слов возникает на основе технической дифференциации общества, на основании разделения труда. Уже было замечено, что когда мы произносим такое, например, слово как *операция*, то у хирурга оно вызывает представление о больных и ланцетах, у генерала — о массах передвигающихся войсковых соединений, выполняющих определенное задание, у бухгалтера — о дебете и кредите и т.д. Но так как в обществе люди отличаются друг от друга не только своим профессиональным образованием, но и своим семейным воспитанием, то можно говорить не только о профессиональном, но и о семейном осмыслении различных слов. «Между людьми одного кружка или семейства, — рассказывает Л.Н. Толстой в «Юности», — устанавливается свой язык, свои обороты речи, даже слова, определяющие те оттенки, которые для других не существуют.

В нашем семействе, между папá и нашими братьями, понимание это было развито в высшей степени. Но ни с кем, как с Володей, с которым мы развивались в одинаковых условиях, не довели мы этой способности до такой тонкости. Напр., у нас с Володей установились, Бог знает как, следующие слова с соответствующими понятиями: *изюм* означало тщеславное желание показать, что у меня есть деньги; *шишка* означало что-то свежее, здоровое, изящное, но не щегольское; существительное, употребленное в множественном числе, означало несправедливое пристрастие к этому предмету. Но, впрочем, значение зависело больше от выражения лица, от общего разговора, так что, какое бы новое выражение для нового оттенка ни придумал один из нас, другой по одному намеку уже понимал его точно так же».

Так противостоят друг другу общая многозначность слова и его частное, контекстное значение. Слово многозначно как лексическая единица языка, но всякий раз в реальном языковом обращении оно стремится к однозначности, к моносемии. Силы, направляющие семантику слова в ту или иную сторону, разнообразны. Они могут определяться и общими социальными условиями восприятия, и бытовой необходимостью, и преднамеренностью художника, воздействующего на читателя средствами языка. Подчас эти силы настолько могущественны, что стирают контуры внеконтекстного значения слова, делают его нечет-

ким. Слова типа *материя, бытие, сознание, коммунизм, демократия* и тысячи им подобных существуют не столько как абстрактные лексические единицы языка, сколько как понятия, зависящие прежде всего от идеологии, с точки зрения которой они осмысляются. В каждую историческую эпоху есть более прогрессивный и более регрессивный подходы.

Так социальные условия жизни человека определяют в конечном счете изменение различных значений в пределах слова, так ставят они проблему полисемии слова и его контекстной реализации.

2

Смысловой центр слова

От явлений полисемии следует отличать случаи словесной омонимии. *Град* в смысле город и *град* — явление природы, *ключ* — источник и *ключ*, которым мы закрываем дверь, образуют такие ряды, в системе которых каждое второе слово семантически никак не связано с первым. Это просто омонимы, случайные звуковые совпадения, фонетические встречи слов, имеющих разный источник и идущих по разным смысловым путям. Омонимы возникают, впрочем, не только в результате случайного фонетического совпадения различных слов. Они могут иметь и другой источник. Когда говорят «благодаря ему я сломал

себе ногу», то в данном случае употребляют *благодаря* только как предлог, выражающий причину, следствие. Мы уже не замечаем былой связи этого предлога с глаголом *благодарить*. Если связь эта ощущалась бы нами, предложение типа «благодаря ему я сломал себе ногу» было бы невозможно. Между тем сравнительно еще не так давно «благодаря» — предлог и «благодаря» — деепричастие от глагола «благодарить» находились в несомненной зависимости, как различные формы единого смыслового целого. Чем более часто стало употребляться «благодаря» как предлог, тем сильнее «выветривалось» его лексическое содержание, тем отчетливее оно стало выступать как «формальный» грамматический показатель, лишенный своего самостоятельного содержания, и тем дальше отрывалось оно от глагола «благодарить». В результате, некогда связанные между собой образования — деепричастие «благодаря» и предлог «благодаря» — разошлись, стали разными, ничем не связанными между собой словами. Произошел распад полисемии, некогда связанные между собой слова разошлись, образовав омонимы.

Каков бы ни был, однако, источник образования омонимов — случайные фонетические совпадения этимологически разных слов или распад былой полисемии — на определенном этапе развития языка омонимы всегда воспринимаются как разные слова, не связанные между собой по смыс-

ду. Говорящему на современном русском языке безразлично, что «благодаря» — предлог и «благодаря» — деепричастие некогда образовывали смысловое целое. Неважно потому, что сейчас он не ощущает этой связи. Поэтому омонимы этого типа ничем не отличаются в его сознании от омонимов типа *ключ—источник* и *ключ—замок*. Различие между этими типами омонимов оказывается лишь историческим. Омонимы типа *за́мок—замо́к* различаются ситуативно и ударениями.

Иное соотношение складывается между разными значениями в системе многозначного слова. Как бы ни были разнообразны значения уже рассмотренного нами слова *соль*, несомненно все же то, что все эти значения группируются вокруг одного смыслового стержня — «соли», важнейшей составной части пищи и химического продукта. Именно это центральное осмысление слова определяет и все последующие его значения — конкретные и абстрактные, буквальные и фигуральные. От «соли», как важнейшей составной части пищи, идут и все последующие значения: то, что придает особенный смысл, интерес, остроту чему-нибудь (например разговору), остроумие и пр. Разговор без *соли* как бы уподобляется пище без *соли*, воспринимается как «пресный», бессодержательный. Различные значения слова переключаются между собой, от одного из них протягивается мостик к другому, но все они скреплены центральным смыслом слова. Вот почему,

с другой стороны, *соль* в значении одной из нот музыкальной гаммы и *соль* — особый сорт морской рыбы окажутся уже не дальнейшими значениями *соли*, как важнейшей составной части пищи, а совершенно самостоятельными словами, омонимами, случайно и лишь фонетически совпавшими между собой. Следовательно, до тех пор, пока разные значения одного и того же слова сохраняют между собой нечто общее, группируются вокруг единого смыслового стержня, лишь в большей или меньшей степени отдаляясь от него, мы имеем дело с полисемией, когда же отдельные значения либо резко отделяются от основного смысла слова и теряют с ним связь, либо совпадают между собой только по фонетическим, а не по смысловым линиям, мы имеем перед собой омонимы. С этой точки зрения можно понять, как в отдельных случаях частные, контекстные значения полисемантического слова по разным причинам порою отрываются от своего смыслового центра и, утратив с ним связь, превращаются в самостоятельные слова-понятия.

Не менее важна в другом плане и общая лексическая соотнесенность взаимодействующих понятий. Когда мы противопоставляем *землю* и *воду*, «земля» имеет другой смысл по сравнению с тем, который вырисовывается в противопоставлении *земли* и *неба* или *земли* и *города*. В первом случае *земля* осмысливается прежде всего как «суша», во втором — как нечто бытовое, жизненное, в третьем — как

область, сельская местность. Таким образом само противопоставление уже направляет значение слова по определенному руслу. Среди различных значений слова оттеняется то один смысл, то другой, в зависимости от того, какое из возможных значений выступает вперед под воздействием рядом с ним стоящего другого слова-понятия.

3

Термин и его отличия от слова

Чем же отличается слово от термина? Если сравнить, с одной стороны, такие слова, как *стол*, *стул*, *занятие*, *размышление*, а с другой, — такие, как *кислород*, *прибавочная стоимость*, *инерция*, *землетрясение*, то нельзя не заметить различий между ними. Первые, хотя и передают те или иные понятия, но эти понятия не являются специфическими для определенной области знания, для определенной науки. Эти слова составляют общий фонд языка, они употребляются для выражения наших повседневных нужд и представлений. Вторая же группа слов более своеобразна. Слова этой группы передают более специальные и вместе с тем более точно обрисованные понятия.

Представим себе такую ситуацию. Мы находимся в горах Кавказа, и перед нами открывается величественная панорама сурового и горного пейзажа. Кругом тишина. И вдруг мы явственно слышим

звуки вальса! В горах?! Мы крайне удивлены. Мы стараемся понять причину этого «чуда». Мы даже немного пугаемся. Но вот оказывается, что наш спутник, не расставшийся внизу с радиоприемником, выдает нам «тайну». Мы поняли, в чем дело. *Радио* — вот источник, нарушивший окружающую тишину. Точный термин найден. Он помог нам понять происходящее. Мы назвали, определили и тем уяснили то, что происходит вокруг нас.

Исключительно велика роль терминов для развития науки. Установлено, например, что представление об инерции уже было известно предшественникам Галилея, однако только с того момента, когда Галилей дал этому явлению название *инерции*, понятие не только вошло в научный оборот, но и было уточнено тем самым само представление об инерции. О понятии *мнимых корней* в математике можно говорить лишь с того времени, когда Декарт предложил им это наименование, хотя, по-видимому, об их существовании догадывались еще до Декарта. Термин *промышленность*, введенный Карамзиным, помог отделить новое понятие от старого представления о *промысле* и тем уточнил новое понятие. В целом ряде случаев переход от предположения и догадки к точному знанию совершается при помощи установления соответствующего термина. Вот почему почти все великие ученые, многие писатели и политические деятели так тщательно работали

над научной терминологией. Термин не только пассивно регистрирует понятие, но в свою очередь воздействует на это понятие, уточняет его, отделяет от смежных представлений.

Таким образом термин отличается от слова своей *моносемантичностью* (однозначностью), большей точностью своих смысловых границ. Многозначность слова — явление типичное. Многозначность же термина воспринимается как известный недостаток и объясняется тем, что не все термины создавались разумно и сознательно, не все они — результат сознательного творчества больших мастеров. В ряде случаев термины как бы дублируют слова общелитературного языка. Так, например, *усталость* получает в технике значение «постепенного разрушения материала под воздействием большого числа повторно-переменных напряжений». Но это сравнительно редкие случаи. В своей же основной массе термины не дублируют слов литературного языка, они образуют ряды строго очерченных понятий.

Термин отличается от слов не только своим *тяготением к однозначности*. Термин лишен также *эмоциональной окраски*. И это второе свойство термина определяется его первой особенностью, его стремлением к однозначности. Трудно представить себе, что такие термины, как *углекислый газ* или *интеграл* можно произнести с большей или меньшей эмоциональной экспрессией. Иное дело обычные слова. В отличие от терминов

они легко поддаются эмоциональной окраске. Такое слово, как например *люди*, может получить самые различные значения именно под воздействием того чувственного тона, с которым оно произносится. Мы можем воскликнуть «какие люди!» в смысле «какие замечательные люди», и мы можем заметить «какие люди» в смысле «какие ничтожные, коварные, злые люди». Следовательно, сама по себе многозначность слова обычно делает его восприимчивым ко всем аффективным оттенкам интонации, тогда как сравнительная однозначность термина, логическая прозрачность его содержания и относительная ограниченность сферы применения превращают термин в маловосприимчивое ко всем эмоциональным обертонам интонации языковое образование. Так, невосприимчивость термина по отношению к эмоциональным оттенкам речи определяется его основной особенностью — однозначностью его содержания, четкостью его смысловых границ.

4

Конкретные и абстрактные смыслы слова

Современный интеллигентный человек, говорящий на таких высокоразвитых языках, как, например, русский, французский или английский, не замечает различия между конкретными слова-

ми типа *стол, стул, топор, трактор* и абстрактными словами-понятиями типа *любовь, размышление, созерцание, сожаление*. Между тем во многих менее развитых языках еще не выработалась сложная система абстрактных слов-представлений, слов-понятий. Индейцу, например, гораздо легче сказать о любви «такого-то определенного человека к другому такому же определенному человеку», чем выразить понятие любви вообще. «Если сравнить, — пишет американский исследователь Боас, — современный английский язык с некоторыми из наиболее конкретных индейских языков, то контраст поразителен. Когда мы говорим «глаз есть орган зрения», индеец может оказаться неспособным образовать выражение «глаз», ему придется указать, имеется ли в виду глаз человека или животного. Далее, он не в состоянии выразить одним термином идею органа, ему придется определить ее сочетанием «орудие видения», так что вся фраза примет приблизительно такую форму: «глаз неопределенного лица есть орудие его видения».

Недостаток в общих понятиях своеобразно компенсируется огромным многообразием конкретных наименований. По данным ученых, у лопарей, например, насчитывается до 20 слов для обозначения разных форм и сортов льда, 11 слов — для передачи различных степеней холода, 41 слово — для различных видов снега. Сознание обычно ориентируется на конкретные предметы и явления и лишь постепенно, в процессе исторического

развития, овладевает более сложными и отвлеченными представлениями. В этой связи любопытно, что и в старом русском фольклоре обычно не встречаются загадки на родовые понятия, зато очень многочисленны загадки, основанные на видовых, частных наименованиях. Нет загадок на темы «растение», «животное» или «птица», но зато очень часто выступают конкретные предметы и понятия: яблоня, овца, курица и т.д. На вопрос «что над нами вверх ногами?» ответ гласил: «муха» или «таракан», но отнюдь не «насекомое». Видовые понятия преобладают здесь над родовыми, частные — над общими, конкретные — над абстрактными.

Проблема развития абстрактных слов-понятий сводится к проблеме исторического развития языка. Различие между языками в этом плане является не исконным, не расовым, не «природным», а историческим. Языки, находящиеся на более высокой стадии общего развития, располагают и более обширным словарем абстрактных понятий, тогда как языки, не имеющие письменности или только начинающие ее развивать, естественно имеют и менее богатый запас соответствующих абстрактных понятий. Однако стоит только создать определенные условия для такого языка, и он начнет обогащаться абстрактными представлениями. Многочисленные случаи подобного развития можно наблюдать во многих, например, северных языках, когда народы — носители этих языков — получили письменность.

Движение от конкретных слов и понятий к абстрактным тесно переплетается с проблемой развития переносных, фигуральных значений. В свою очередь эта последняя проблема связана с уже знакомой нам проблемой полисемии слова. В самом деле, что такое *соль* в значении «сущности» или «остроумия», как не вторая или третья ступень по направлению к фигуральному смыслу. *Соль* в значении «сущности» или «остроумия» создает не только второй и третий смысловой план самого слова, но, отталкиваясь от основного значения (важный продукт питания), новые смыслы сохраняют с этим основным значением такую связь, какая существует между фигуральным и буквальным фоном самого понятия. Фигуральное как бы надвигается на буквальное, сцепляется с ним. То, что в системе полисемантического слова различные значения не просто сосуществуют, но органически между собой связаны, объясняется в значительной степени и легкостью, и вместе с тем внутренней мотивированностью, с которыми совершаются переходы от буквальных к переносным смыслам понятия. Пушкинскую *телегу жизни* каждый из нас понимает фигурально, никто не думает при этом об обычной телеге, и все же связь метафорического смысла телеги с ее буквальным значением также не вызывает никаких сомнений. Мы говорим о *горлышке* бутылки и *ручке* кресла, мы восхищаемся *говорящими* глазами, *сладкими* звуками и *бархатным* тенором, иногда

даже едут *зайцем* в трамвае или вспоминают *седую* старину истории.

Подвижная связь между буквальными и переносными значениями слова приобретает особо важное значение в языке художественной литературы. Вот, например, как своеобразно развернуты различные значения слова *нос* в повести Гоголя под этим же названием. Персонаж повести «Нос» майор Ковалев заподозрил штаб-офицершу Подточину в колдовстве и объявил ее виновной в пропаже его носа. В письме к Подточиной Ковалев писал: «Поверьте, что история насчет моего *носа* мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главная участница... Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то в собственном виде, есть больше ничего, как следствия волхований... Я с своей стороны почитаю долгом вас предупредить, если упомянутый мною *нос* не окажется на своем месте...» В ответ на это обращение Подточина написала: «Преупреждаю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме. Вы упоминаете еще о *носе*. Если вы разумеете под сим, что будто я хотела *оставить вас с носом*, то есть дать формальный отказ, то меня это удивляет».

В этой повести Гоголь тонко использовал различные значения слова *нос*. Ковалев пишет о своем собственном *носе*, жалуясь что он действительно остался без *носа*. Штаб-офицерша, однако, предполагает, что остаться без *носа* можно только

фигурально, а не буквально, поэтому выражение «остаться без носа» ассоциируется в ее сознании с существующим в русском языке идиоматическим (устойчивым) сочетанием «остаться с носом». Переносное значение «остаться без носа» по аналогии с переносным значением «остаться с носом» кажется Подточиной единственно возможным. Она не предполагает, что невероятные приключения майора Ковалева превращают выражение «остаться без носа» в буквальное, придают ему реальный, непереносный смысл. Она продолжает толковать это выражение фигурально, вследствие чего переписывающиеся стороны никак не могут понять друг друга: майор Ковалев скорбит о действительно потерянном носе, а штаб-офицерша Подточина старается обнаружить в этом выражении какой-то скрытый, фигуральный смысл. Сталкивая разные значения слова, писатель достигает предельной выразительности. Мир действительных и фантастических приключений этой повести как бы отражается в разных значениях слова *нос*, причем реальные, «естественные» события подсказывают фигуральное толкование выражения «остался без носа» (аналогия «остался с носом»), тогда как фантазия автора допускает и другое, буквальное осмысление выражения: майор Ковалев в этом фантастическом плане повести как будто бы действительно остается без *носа*. Самый замысел повести обусловил пестроту различных значений слова *нос*.

Как слова изменяют свое значение

Каковы же, однако, причины, которые вызывают изменение значения слова? Мы уже знаем, что слово может расширять свои значения. *Накануне* означало первоначально «время перед праздником, когда поется канон» (1 этап). Затем связь с первоначальным понятием «канона» была утрачена, накануне стало означать «время перед всяким праздником» (2 этап), а затем и «всякий предшествующий день» или «состояние, предшествующее чему-либо ожидаемому» (3 этап). Порывая со своим первоначальным ограниченным значением, слово как бы вырывается на простор, приобретает более широкий обобщающий смысл, обрастает разными добавочными оттенками. *Каникулы* означали первоначально время, когда солнце находится в созвездии Пса (лат. *canicula*, созвездие маленького Пса), т.е. от 22 июля по 23 августа по исчислению древних. Затем этим же словом стал обозначаться летний перерыв в учебных занятиях, а впоследствии и всякий — зимний, весенний, летний — перерыв в учебных занятиях. Связь с периодом созвездия Пса и здесь оказалась забытой. Слово получило более общее, более широкое, менее специализированное значение.

Возможно и обратное явление — сужение значения слова. Первоначально *квас* имел значение

«кислоты» вообще, а затем это слово стало обозначать лишь определенный сорт кисловатого напитка. Мы на каждом шагу прибегаем к ограничению смыслового радиуса слова: мы употребляем иногда глагол «писать» в смысле «сочинять» («он пишет» = он сочиняет), существительное «электричество» в значении «электрическое освещение», «предложение» в смысле «грамматическое предложение» и т.д.

Как же происходят все эти смысловые изменения? Начнем с простейших примеров. Некогда писали птичьими перьями и эти перья естественно назывались *перьями*. Затем, когда появились более совершенные металлические перья и птичьими перьями перестали писать, старое название *перо* перешло на новый предмет — на металлическую изогнутую пластинку. Почему же кусочек металла стали называть пером? Ведь металлическое перо совсем не похоже на гусиное перо. Перенос значения определен здесь не внешними причинами. Изогнутая металлическая пластинка стала выполнять ту же функцию, которую некогда выполняло гусиное перо. Вот это единство функций и определило переход названий. Человека нисколько не смущало, что маленький кусочек металла совсем не походит на гусиные перья. Важнее было другое: функциональное сближение предметов. Выходя из употребления в качестве орудия письма, гусиное перо передало свое название новому, вновь появившемуся

предмету. Явление это в лингвистике получило название функциональной семантики и особенно тщательно разрабатывалось акад. Н.Я. Марром. Этот замечательный советский языковед показал широкое действие закона функциональной семантики в самых разнообразных языках. Если в ряде северных языков одно и то же название переходило с собаки на оленя, а затем с оленя на лошадь, то сама последовательность этих переходов была определена той исторической последовательностью, с какой человек приручал для своих нужд животных: когда олень сменил в упряжке собаку, то и название собаки перешло на оленя, а когда на смену оленю пришла лошадь, то название передвинулось дальше на лошадь. Так лексическая эволюция языка не только следует за эволюцией материальной жизни человека, но и определяется в конечном счете ею же.

Закон функциональной семантики объясняет многие явления в истории слов. Мы сейчас не задумываемся над тем, почему *обои*, которыми мы не обиваем наши квартиры, а лишь клеиваем, называются все же обоями? Историческая справка и здесь оказывается нелишней. Некогда обои приготавливались из материи, которой действительно обивали комнаты. Затем на смену дорогой материи пришла дешевая бумага. И хотя бумагой уже не обивают комнаты, а лишь клеивают, функциональное тождество между обоями из материи и

обоями из бумаги определило переход старого названия на новый предмет.

Ср.: «Везде высокие покои,
В гостиной *штофные* обои».
(«Евгений Онегин»)

В изменении значений слов старая лингвистика видела лишь определенные логические и психологические ассоциации по смежности и сходству. В действительности подобные ассоциации являются вторичным фактором, подчиненным историческим законам развития слова. Закон функциональной семантики показывает, что переход названия с одного предмета на другой может происходить и при полном отсутствии внешнего сходства между этими предметами. Решающее значение приобретает внутренняя смысловая близость между предметами и понятиями, их социальное назначение, их общественная функция.

6

Новое и старое в лексике

Постоянное развитие языка приводит к тому, что одни слова вымирают, становятся архаическими, другие, напротив, возникают, обогащают язык новыми понятиями. В этом возникновении и вымирании слов отражается история народов, их социальные учреждения, идеологические убеждения, технические усовершенствования. Если

такие слова, как *коллежский ассесор*, *сиятельство*, *городовой*, *кольчуга*, *конка*, стали уже достоянием истории, то это потому, что изменились социальные условия жизни народа, повысился уровень его технических знаний. Эти изменения привели к тому, что многие слова старого быта и старого производства стали теперь ненужными. Стоило только *трамваю* сменить *конку*, как и само слово *конка* стало достоянием истории. Вот почему архаизмы встречаются по преимуществу в исторических сочинениях, в художественной и мемуарной литературе.

Но есть еще одна область, где бытуют архаизмы. Это особые устойчивые сочетания слов. Мы все понимаем, что означают выражения *не видно ни зги* или *жив курилка*, хотя сами по себе, рассмотренные отдельно, последние слова этих сочетаний (зга — «крошка, искорка» донское; курилка — «лучина с огнем», из игры: передавали из рук в руки, у кого погасала, тот выходил из круга (русс.); передавали на бегу (Олимпия, Афины); верхом (персы); возможно как символ «огонь от Прометея», из рук в руки, от человека к человеку) кажутся неясными, устарелыми. Здесь, следовательно, забытые слова, поддержанные общим смыслом выражения, как бы вновь оживают в языке, но уже не сами по себе, а лишь в системе устойчивых словесных сцеплений. Архаизмы, таким образом, хотя и являются старыми словами, однако некоторые из них продолжают жить в язы-

ке, то выполняя известную стилистическую функцию (в художественной и исторической литературе), то вступая во взаимодействие с другими, уже неархаическими словами и вместе с ними обретая новое значение.

Иную функцию выполняют новые слова, не о л о г и з м ы. Это особые слова, которые являются новыми не столько в формальном, сколько прежде всего в смысловом отношении. Немотивированных слов в языке почти не существует. Всякое новое слово обусловлено предшествующей языковой традицией. Лингвисты знают лишь несколько слов в европейских языках, выдуманных и независимых от этой предшествующей традиции. *Кодак, газ, рококо, фелибр* — этими словами почти исчерпывается список немотивированных, искусственно сочиненных слов. Обычно же новые слова возникают или из собственных элементов языка, или путем заимствований, т.е. из элементов другого языка или, наконец, путем превращения собственных имен в нарицательные. Такие слова, как *летчик, Калашников, аэродинамика*, иллюстрируют все эти типы возможных неологизмов. *Летчик* представляет собой новую комбинацию из уже знакомых языку морфологических элементов (лет + чик), *аэродинамика* — заимствованное слово, *Калашников* «оружие» образовалось из собственного имени. В семантике, следовательно, как, впрочем, и в языке вообще, решающее значение имеет не формальное сочинительство, а создание

новых смыслов, новых значений, новых понятий. Вот почему практически мы не встречаем в языке абсолютно новых слов, рвущих с предшествующей языковой традицией, но оказываемся свидетелями непрерывного смыслового обогащения языка. И если в архаизмах отражается прошлое, то неологизмы шаг за шагом обогащают язык новыми представлениями.

В создании неологизмов значительная роль принадлежит большим писателям, подобно тому, как в создании терминов такую роль обычно выполняют большие ученые. Очень часто писатели стремятся оправдать не только строго необходимые неологизмы, но и такие новые слова, которые помогают передать своеобразные эмоциональные оттенки выражения и придают стилю неповторимую индивидуальность. Известны гоголевские неологизмы: *трепетолстые* деревья, *беспроисшествие* жизни, *ангельство*, *умно-худощавое* слово, *обравнодушить* (сделать равнодушным) и мн. др. У Достоевского: *зла* и *сверлива*, как буравчик, *крутобедрая* лошаденка, *толстоподошвенные* башмаки. У М. Горького: художник — *чувствилище* своей страны, своего класса. Очень многочисленны неологизмы у Маяковского: *декабрь* вечер, *безъязыкая* улица, *выкипячивать* рифмы и т.п. Техника создания новых слов большими писателями заслуживает самого тщательного изучения. Так, например, когда Шедрин в романе большой обличительной силы создал своих знаменитых *помпадур*

и *помпадури*, то эти неологизмы уже сами по себе должны были помочь автору выполнить его миссию сатирика: *помпадуры* и *помпадуриши* перекрестными линиями сразу вызывали в сознании читателя три резко отрицательных образа — фаворитку Людовика XV, мадам *Помпадур*, купеческих *самодуров* и тщеславную *помпу* самодовольных тиранов.

Г.О. Винокур различает два рода языкового новаторства писателей: стилистическое новаторство и собственно языковое новаторство. Новаторы первого типа стремятся ввести в литературный язык уже известные слова из народного, просторечного, разговорного и технического обихода. Самым крупным представителем такого новаторства был Пушкин. Новаторы второго типа не довольствуются этим, они создают такие слова, которых раньше в языке совсем не существовало. Виднейшим представителем этого рода новаторства был Маяковский. В самом деле, когда в «Медном всаднике» Пушкина мы обнаруживаем «буйную дурь», а в «Станционном смотрителе» — «глазеющих прохожих», то мы наблюдаем здесь не столько процесс создания новых слов, сколько смелое введение народно-просторечных выражений в литературный язык. Иначе поступил Маяковский, вводя в литературный язык дотоле вовсе неизвестные слова. Разные эпохи вызвали разное отношение к словотворчеству у двух крупнейших представителей русской поэзии. В эпоху Пушкина

введение просторечных слов в литературный язык требовало величайшей смелости, прозорливости, безукоризненного ощущения языка, в эпоху Маяковского эта проблема была уже в значительной степени решена, и он взялся за обновление литературного языка. Маяковский и пошел по линии собственно языкового новаторства. Впрочем, представители «чисто» стилистического или «чисто» языкового новаторства встречаются сравнительно редко. Гораздо чаще в творчестве одного писателя мы наблюдаем и то и другое.

Неологизмы не возрастают прямо пропорционально времени. От Пушкина до зрелого Горького прошло сто лет, молодой Горький и Хлебников — современники, и тем не менее язык Горького гораздо ближе к языку Пушкина, нежели к языку Хлебникова. В истории литературного языка приходится считаться не только с фактором времени, но и с лингвистическими воззрениями, литературными направлениями, языковой политикой.

Возможно ли датировать появление в языке того или иного неологизма? Известно, например, что *временщик* принадлежит Пушкину, *промышленность* — Карамзину, *социализм* — французскому социалисту-утописту начала XIX века Пьеру Леру, *альтруизм* — О. Конту и т.д. Термины датировать легче. Значительно труднее установить время возникновения отдельных слов. Так, Достоевский гордился тем, что ему удалось ввести в литературный язык слово *стусеваться*, о чем он

написал специальную статью в «Дневнике писателя». Впоследствии, однако, было установлено, что этот глагол встречался в языке и раньше. Ронсар считал, что он первый употребил слово *ода*, и ему долго верили, но в XIX веке исследователи обнаружили это слово уже у предшественников Ронсара. Писатели, конечно, не умышленно вводят здесь в заблуждение читателей. Подчас они сами не замечают своей ошибки, искренне считая себя изобретателями того или иного слова. Виновным оказывается здесь сам язык, который с такой легкостью и быстротой подхватывает и широко распространяет нужное слово, что смешивает все карты, скрывая истинного автора того или иного неологизма. Впрочем, в большинстве случаев этого индивидуального автора действительно и не существует. В непрерывном обогащении языка нужно видеть прежде всего коллективные усилия народа, выразителями дум которого и являются его лучшие писатели, лучшие ученые, лучшие политические деятели.

7

Поиски нужного слова

У первобытных народов обновлению словаря очень способствовали явления так называемого т а б у. Так именовался у этих народов запрет, налагавшийся на определенные слова и предметы.

Как показали исследователи, многие народы еще верят, что между именем и человеком, носящим это имя, существует магическая связь. Жители Чилийских островов, например, убеждены, что, если иностранец знает ваше имя, он может проделать с вами все, что угодно. Согласно первобытным представлениям, человек, произнося свое имя, отделяет от себя частицу своей энергии, поэтому, если он много раз повторит свое имя, он похудеет. Поэтому американские индейцы очень неохотно сообщали свои имена европейцам. У кафров женщина не имеет права публично произносить имя мужа. И не только имя мужа, но и все слова, в которых есть хоть один слог, напоминающий звуки имени ее мужа или его родственников, становятся запретными. Такая женщина вынуждена изобретать свои особые слова, свой особый язык. У самых разнообразных племен существует табу на имена умерших. Назвать имя умершего — значит вызвать гнев духа. У многих туземных народов людей называют такими конкретными именами, как ягуар, петух, дорога, курица, огонь и пр. После смерти человека, которого звали, например, *огонь* или *петух*, эти слова делались запретными, а для «огня» и «петуха» подыскивались новые наименования. В результате такого рода табу словарь туземных языков непрерывно обновляется, находится в постоянном движении.

С другими запретами мы встречаемся и теперь. Кто из нас не ощущал, что то или иное слово

произнести неприлично, что его следует смягчить, заменить другим? Не желая прямо оскорбить немного человека, мы скажем о нем, что «он не изобретет пороха»; говорящему неправду мы заметим — «не отклоняйтесь от истины», о пьяном — «он навеселе». В XVII веке во Франции представители пуристического движения жеманниц настаивали на необходимости «очистить» язык от «неблагородных» и «грубых» слов и выражений. Вместо «высморгаться» нужно было сказать «облегчить себе нос», вместо «сядьте в кресло» — «разрешите этому креслу обнять ваш стан» и т.п. Конечно, усилия жеманниц сейчас вызывают у нас только улыбку — недаром их высмеял уже Мольер, — и все же мы все прибегаем к смягченным словам и словосочетаниям, лишь в несколько иных случаях и в менее высокопарных выражениях. Вот такие смягченные слова или целые сочетания слов, употребляемые вместо слишком реалистических («грубых») наименований, называются э в ф е м и з м а м и. Их стилистические функции в литературном языке многообразны. Чеховская Соня замечает в «Дяде Ване» (III, 1): «Когда женщина некрасива, то ей говорят: у вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы».

Есть, однако, чрезвычайно существенное различие между табу и эвфемизмами. Табу основано на таком мировоззрении, которое допускает наличие реальной связи между словом и предметом, словом и явлением. Если американский

индеец не произносит тех или иных слов, то это потому, что он опасается страшных последствий. Он верит, что известные слова могут отомстить за себя, вызвать злого духа и т.п. Если же современный человек справедливо считает для себя невозможным произнести вслух какое-нибудь слишком откровенное слово, то он делает это уже по совершенно другим мотивам. Конечно, слово не может вызвать никакого «духа», но оно может произвести дурное впечатление, оказать на слушателя совсем не то воздействие, к какому стремится говорящий. Отсюда второе существенное отличие эвфемизмов от табу. Эвфемизмы — особенно в литературном языке — обычно выполняют известную стилистическую функцию, они в большей или меньшей степени продуманы артистически. Табу же не имеет и не может иметь этого стилистического плана. Отличие мировоззрения, вызывающего табу, от мировоззрения, поддерживающего эвфемизмы, и определяет различие между этими явлениями языка.

8

Внутренняя структура слова

Но как образуется внутренняя структура слова? Почему *стол*, например, называется столом, а не как-нибудь иначе? Почему это же слово по-немецки будет *tisch*, по-французски и по-англий-

ски *table*, а по-итальянски *mensa*? Этот вопрос уже издавна интересовал человека. Какова природа связи между внешним названием предмета или понятия и их внутренней сущностью? (Эта связь обычно называется внутренней формой слова.) Не все слова одинаково мотивированы. В то время как, например, *семьдесят* или *восемьдесят* легко распадаются в нашем сознании на составные элементы, *сорок* кажется немотивированным, а поэтому и более условным.

Анализируя такие слова, как *подснежник*, *подсолнечник* или *восемьдесят*, нельзя не обратить внимания на способ их образования. Эти слова не только называют предметы или понятия, но одновременно выражают точку зрения говорящего по отношению к этим понятиям. Подснежник, по-видимому, поразил некогда человека своим ранним появлением весной, когда на полях еще лежит снег. Вот эта особенность подснежника и положена в основу самого названия. Человек обратил внимание на одну из особенностей этого цветка, и эта особенность и была использована им для названия.

Но тот же подснежник может иметь и другие свойства и особенности: определенную форму, определенные цвет и запах, определенное назначение и т.д. Оказывается, что в русском языке для названия подснежника был использован определенный признак (нахождение под снегом), в немецком языке в основу названия был положен

тот же признак с дополнительной характеристикой (*Schneeglöckchen*, букв. «снежный колокольчик», т.е. связь не только со снегом, как в русском, но и сопоставление формы цветка с формой колокольчика), в английском мы опять обнаруживаем этот же признак в новой комбинации (*Snowdrop*, букв. «снежная капля»), во французском еще раз этот же признак (*perce-neige*, букв. «просверливающий снег», активный признак, цветок, прокладывающий себе дорогу к жизни через снег, а не пассивный признак — находящийся под снегом), и т.д.

Внутренняя форма слова дает, таким образом, возможность разобраться не только в первоначальном значении слова, но и в структуре его формования. Как бы ни казалось слово немотивированным, исторический анализ обычно вскрывает его первоначальное значение. Слово *капуста* по сравнению со словом *подснежник* представляется немотивированным, условным. Но этимология этого слова проясняет его название: *капуста* от народно-латинского *capitium*, которое в свою очередь восходит к литературно-латинскому *caput* — «голова». Первоначальное, хотя и отдаленное, сходство по форме определило переход названия с известного предмета или понятия (голова) на неизвестный, вновь открытый предмет или понятие (овощ, похожий на голову).

Однако непрерывное развитие языка приводит очень часто к полному забвению первоначаль-

ного значения слова. *Революция* еще в XVII веке часто употреблялась как астрономический термин. Им обозначали движение планеты вокруг своей оси (лат. *revolutio*). Затем в XVIII веке во Франции термин этот стал употребляться как политическое понятие. После французской буржуазной революции 1789—1793 гг. старое астрономическое толкование понятия было отделено, стало омонимом, а новое осмысление *революция* вырывается из круга полисемии и забывает свою связь с астрономическим значением. И такие явления встречаются в языке очень часто: мы уже не думаем о *конце*, когда употребляем слово *закон*, не замечаем корня *тѣк*, когда произносим слово *сутки*, не вспоминаем *пятки*, когда говорим *опять* и не ощущаем, что речь идет собственно о *стреле*, когда *стреляем* из ружья или пулемета. Следовательно, чем более изменяется первоначальная семантика слова, тем больший разрыв образуется между внутренней формой этого слова и его новым измененным значением.

Не правы те лингвисты, которые во внутренней форме слова видели своеобразный, раз и навсегда очерченный круг языковых значений, система которых будто бы определяется «духом» народа, говорящего на данном языке. Не правы они и потому, что внутренняя форма слов одного языка не отделена китайской стеной от внутренней формы слов другого или других языков, — хотя и имеет свои особенности, — и потому, что

внутренняя форма слова, как мы видели, нисколько не препятствует развитию самого значения слова. Не правы также и те лингвисты, которые склонны отрицать значение внутренней формы слова для современного языкового восприятия на том основании, что говорящий не задумывается над этимологическим осмыслением слова и понимает его лишь в новейшем значении. Конечно, современное значение многих слов резко отличается от их первоначальных смыслов. Однако для более глубокого уяснения новых, качественно иных значений необходимо разобраться в том, как эти новые значения вступили в борьбу со старыми смыслами, как они оттеснили их, как оказались победителями.

Возьмем такой пример. Как показал замечательный русский лингвист Потебня, слово *трава* первоначально означало «пищу». Оно выражало как бы следующее: «то, что я вижу и что имеет такие-то признаки, есть пища». Пока внутренняя форма этого слова ощущалась, всякая трава, негодная для употребления в пищу, исключалась из понятия самого слова. Важным казалось не то, что трава зелена, а то, что она годна в пищу. Постепенно слово это стало связываться с другими признаками. «Чем больше различных сказуемых перебивало при слове трава, — пишет Потебня, — тем на большее количество суждений стал разлагаться до того нераздельный образ травы. Субстанция травы, очищаясь от всего постороннего,

вместе с тем стала обогащаться атрибутами». Это обогащение субстанции атрибутами и способствовало образованию более общего понятия. Так, в борьбе новых признаков с единым и ограниченным старым представлением (трава-пища) стало формироваться новое понятие о траве, уже не как о пище, а как об особом растении с тонким зеленым стеблем, назначение которого теперь уже не сводится только к пище, а приобретает более общий смысл. Так, в борьбе новых смыслов со старым значением шло становление нового, более широкого понятия. Можно утверждать, что внутренняя форма слова помогает уяснить не только первоначальное значение слова, но и пути формирования его новых смыслов, даже тогда, когда эти новые смыслы начинают опровергать истинное значение слова.

Таким образом процесс забвения внутренней формы слова основан на прогрессивном и постоянном стремлении слова к обобщению своего внутреннего содержания, к охвату все большего количества признаков и представлений. Нам нужно было бы непосильно перегружать нашу память бесчисленным количеством отдельных слов, если для каждого предмета и понятия мы изобретали бы новое слово. Мы *стреляем* (выпуская *стрелу*) не только из лука, но и из ружья, из пушки, из пулемета, из миномета. Слово отрывается от своей внутренней формы, охватывая все большее количество предметов или понятий. На этом

основана полисемия слова, его фигуральные смыслы, его метафорическая подвижность. Логические смыслы слова и здесь, как и всегда в языке, подчиняются историческому восприятию вещей, историческому развитию культуры, техники, социальных учреждений.

В ряде случаев, однако, внутренняя форма слова приобретает особо важное значение, когда нужно дать название новому предмету или понятию. Площадь *Пяти углов* в Санкт-Петербурге названа так потому, что необычное соединение пяти, а не четырех сторон на перекрестке бросалось в глаза, напоминало о себе. Этот характерный признак — один из многих других возможных — казался наиболее заметным, отделяющим данный перекресток от всех остальных, а поэтому им и воспользовались для наименования самой площади. Внутренняя форма здесь не забывается, ибо пять углов постоянно напоминают о себе, постоянно выделяются на фоне обычных перекрестков. Вот почему внутренняя форма здесь не стирается, не затемняется, она продолжает ощущаться сейчас так же, как она ощущалась и в период своего возникновения. Конечно, если бы вновь возникающие улицы стали строиться на перекрестках по принципу пяти, а не четырех углов. Исключения (напр. площадь Льва Толстого) лишь подтверждают правило. Площадь Пяти углов затерялась бы среди них, сделалась бы обычной, не выделяющейся. Внутренняя форма названия стала бы бледнеть и

стираться. Но этого не происходит, аналогичных перекрестков не возникает, и внутренняя форма названия продолжает ощущаться как оригинальная, необычная.

Целый ряд русских слов сохраняет свою прозрачную внутреннюю форму. «Не находите ли вы, — говорил Аркадий Кирсанов Кате в “Отцах и детях” Тургенева, — что *ясень* по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и *ясно* не сквозит в воздухе, как он. Катя подняла глаза кверху и промолвила: да».

С проблемой внутренней формы слова связаны в известной степени и явления так называемой народной этимологии. Если *бульвар* некогда превращался в старом народном языке в *гульвар*, *микроскоп* — в *мелкоскоп*, *профос* — в *прохвост*, то эти превращения были вызваны бессознательным стремлением сделать непонятные слова понятными. Конечно, чем выше уровень общего народного образования, чем глубже проникает книга в широкие слои читателей, тем реже встречаются подобные трансформации. Вот почему старая русская классическая литература давала гораздо чаще примеры такого переосмысления литературных понятий в народном языке, чем новая. «Слово *плутократия*, — писал Писарев в статье о Гейне, — происходит от греческого слова *плутос*, которое значит богатство. Но если читатель, увлекаясь обольстительным созвучием, захочет произвести плутократию от русского слова

плут, то смелая догадка будет неверна только в этимологическом отношении». А вот пример из «Войны и мира» Л. Толстого: «Bosse! Vincent! — прокричал Петя, остановясь у двери. — Вам кого, сударь, надо? — сказал голос из темноты. Петя сказал, что того мальчика француза, которого взяли нынче. — А! Весеннего? — сказал казак. Имя его Vincent уже переделали казаки — в Весеннего, а мужики и солдаты — в Висеню. В обеих переделках это напоминание о весне сходилась с представлением о молоденьком мальчике. Он там у костра грелся. — Эй, Висеня! Весенний! — слышались в темноте голоса» (т. 4, ч. 3, гл. VII). Об аналогичных явлениях в народном языке рассказывают и западноевропейские писатели. Когда Санчо Панса сообщает Дон Кихоту (часть 2, гл. 3) о появлении необычайно ученого летописца по имени Cide Hamete Berengena и объясняет своему господину, что нового ученого зовут так по причине его любви к баклажанам (по-испански *berenjena* — «баклажаны»), то Дон Кихот замечает: «Нет, Санчо, его зовут так потому, что по-арабски Cide значит господин».

Итак, народной этимологией называются случаи переосмысления в народном языке таких литературных слов-понятий, внутренняя структура которых представляется народному сознанию недостаточно ясной. Однако в ряде случаев переосмысленные в народном языке слова возвращаются в литературный язык уже в изме-

ненном виде. Так, мы сейчас произносим и пишем *свидетель* (от *видеть*), хотя некогда единственно правильным образованием считалось *сведетель* (т.е. кто ведает — «знает»). Возникшее сперва в народном языке (слово *свидетель* представлялось более понятным, чем книжное *сведетель*) новое образование проникло затем и в литературный язык, полностью вытеснив старую форму. Для теории слова очень важно показать, как происходит забвение первоначальной внутренней формы слова, как формируются новые «актуальные» значения, как эти значения разрушают старую структуру слова и как в борьбе новых значений с первоначальным смыслом слова происходит непрерывное развитие языка.

9

Устойчивые сочетания слов

Мы уже знаем, что слова находятся во взаимодействии друг с другом. В определенных случаях отдельное слово само по себе может быть даже непонятным. Кто из нас знает, что такое *баклуши*, а вместе с тем каждый прекрасно понимает выражение *бить баклуши*. В известных случаях слово не вызывает у нас недоумений, если мы встречаем его в определенных устойчивых словосочетаниях, но оно кажется нам странным и непонятным, как только мы сосредотачиваем все

наше внимание на отдельном слове. Следовательно, такие сочетания, как *бить баклуши*, мы воспринимаем именно как целые словосочетания с единым смыслом; мы обычно не замечаем в этих словосочетаниях отдельных слов, не понимаем их частных значений. Так же обстоит дело и с такими устойчивыми сочетаниями, как *сломя голову, спустя рукава, кричать благим матом, во всю Ивановскую, как пить дать* и т.д. Вот такие устойчивые словосочетания, смысл которых определяется не суммой отдельных слов, в них входящих, а своеобразным синтетическим целым с единым значением, называются идиомами или идиоматическими выражениями.

В каждом языке есть свои идиомы. Русский скажет *с глазу на глаз*, француз — *tête à tête* (букв. «голова с головой»), англичанин — *face to face* («лицо к лицу»), немец — *unter vier Augen* (букв. «под четырьмя глазами»). Общим здесь будет самый принцип неразложимых сочетаний с целым значением, хотя каждый из этих языков выражает одну и ту же идею по-разному. Везде речь идет о том, что по-русски называется «с глазу на глаз», но француз вспоминает в этом случае голову, англичанин — лицо, а немец — четыре глаза. Правильнее было бы сказать, что никто ничего не вспоминает, ибо, как мы только что заметили, идиоматические сочетания воспринимаются целиком, не аналитически, но исторически каждый язык, пользуясь определенным языковым приемом, всякий раз реализует его по-своему.

Как показал акад. В.В. Виноградов, фразеологические сочетания в отличие от идиом более подвижны, менее замкнуты. В идиоматическом выражении мы обычно не можем переставлять отдельные слова, прибавлять или отнимать что-либо. Идиома *с глазу на глаз* не поддается перестановкам (нельзя, например, сказать «на глаз с глазу»), не допускает никаких прибавлений (нельзя сказать «с черного или с большого глазу на глаз»), тогда как фразеологические сочетания типа *буря в стакане воды* или *разжигать страсти* обычно допускают и то и другое (можно сказать, например, «настоящая буря в стакане воды» или «страсти разжигать до предела»). Следовательно, фразеологические сочетания, так же как и идиомы, обнаруживают стремление к образованию целых словесных смыслов, но в отличие от идиом фразеологические сочетания не доводят этого стремления до конца: они как бы останавливаются на полпути, создают такие соединения, которые сравнительно легко распадаются на отдельные слова и внутри которых отдельные слова не теряют своей большей или меньшей самостоятельности. В *бить баклуши* второй компонент, как мы видели, сам по себе непонятен, тогда как в фразеологическом сочетании *разжигать страсти* каждое слово сохраняет свою самостоятельность. Следовательно, фразеологическое сочетание действует и силою своих отдельных элементов и общим смыслом сочетания, тогда как идиома сохраняет

за собой лишь общий смысл всего целого, не разложимого на части. Вот почему идиомы одного языка почти не переводимы дословно на другой язык, тогда как фразеологические сочетания допускают эту транспонировку. Этим же общим свойством фразеологических сочетаний пользуются поэты, разрушая старые словесные сцепления. Так, у Маяковского (отмечено Винокуром):

В этой теме, и личной, и мелкой,
Перепетой не раз и не пять... (вместо «не два»)

Таков путь от слова к целому словосочетанию — идиоме, и к менее устойчивому единству с разными оттенками и вариантами (фразеологическому сочетанию). В результате в языке создается огромное разнообразие значений и лексических сочетаний: слово само по себе во всем его многообразии, слово и целое сочетание, действующее одновременно, и, наконец, только сочетание, только целое, подчиняющее себе отдельные лексические элементы. И все это в пределах слова и словосочетаний, не говоря о более сложных единствах синтаксического порядка, относящихся уже к структуре предложения.

Исследуя идиомы и фразеологические сочетания, некоторые исследователи обычно любят говорить об их национальной неповторимости. Бесспорно, конечно, что каждый язык по-своему реализует ту или иную идиому, однако также бесспорно и то, что п р и н ц и п ы образования иди-

ом и фразеологических сочетаний оказываются в значительной степени интернациональными. Дело не только в том, как реализует ту или иную идиому тот или иной язык, но и в том, какие общие типы устойчивых сочетаний в языке существуют. И с этой точки зрения можно говорить о сравнительной идиоматике или сравнительной фразеологии целой группы языков, — область, еще не разработанная в науке — подобно тому, как существует сравнительная фонетика и сравнительная грамматика различных языков.

10

Свое и чужое в лексике

Как же слова переходят из одного языка в другой? Выдающиеся лингвисты — Марр, Шухардт и другие — неоднократно подчеркивали, что языки постоянно смешиваются, постоянно воздействуют друг на друга. Есть даже языки, которые своим возникновением обязаны смешению двух или нескольких языков. Так, английский язык образовался в процессе скрещения германских и романских элементов. В лексике почти каждого языка мы находим множество заимствованных элементов. В немецком языке обнаруживаются греко-латинские, скандинавские, романские, славянские и другие слова; в турецком — арабские, персидские, итальянские и французские слова; во

французском — латинские, греческие, кельтские элементы; в баскском — иберские, латинские, французские, испанские; в румынском — латинские, романские и славянские. В свою очередь в русском языке мы находим немало слов церковно-славянского языка, а также слова греко-латинского, западноевропейского и восточного происхождения. Те или иные иностранные элементы в составе того или иного языка объясняются историческими условиями развития этого языка, тем, с какими народами данный народ — носитель языка — имел сношения. Очень многие слова русского языка, которые некогда были и ощущались как иностранные, впоследствии настолько ассимилировались, что совсем утратили свой иноземный отпечаток. Таковы, например, *хлеб, изба, доска, бутылка, книга, лошадь* и мн. др.

Западноевропейскому воздействию русский язык подвергся в XVIII и начале XIX веков. В свою очередь со второй половины XIX века, в связи с блестящим развитием русской классической литературы, и затем в XX веке, русский язык оказывает определенное воздействие на ряд европейских и восточных языков. *Соболь, тройка, царь, декабрист, нигилист, спутник* и многие другие стали интернациональными понятиями и словами.

Особую группу среди заимствованных слов составляют так называемые кальки. Это слова, формируются по образцу структуры соответствующих иностранных слов, но не заимствуют их ма-

териальной основы. Кальки встречаются во многих языках. Так, грамматический термин *падеж* является русским по своему составу, по своей материальной основе, но заимствованным по своей структуре: *падеж* точно так же образован от глагола *падать* (то, что падает, т.е. отклоняется, «отпадает» от основной формы субъекта), как латинское *casus* — «падеж» от глагола *cadere* — «падать». Кальки могут быть и чисто смысловые. Так, появившееся в начале XIX века в ряде европейских языков, в том числе в русском, новое значение *левого* в смысле «революционного» (а затем и «сверхреволюционного») и *правого* в смысле «консервативного», было скалькировано первоначально с соответствующих французских слов *gauche* и *droit*. В свою очередь новое значение этих французских слов возникло в эпоху Конвента: во время правительственных заседаний более прогрессивная партия монтаньяров сидела на *левой* стороне, а более консервативная партия жирондистов — на *правой*. С тех пор понятие *левого* стало ассоциироваться с понятием передового, революционного, а понятие *правого* — с понятием консервативного, реакционного.

Среди заимствованных слов следует различать иностранные и интернациональные. Уже Белинский правильно отметил: «Если вошедшее в какой-нибудь язык иностранное слово заменится собственным того языка словом — иностранное выходит из употребления». Так исчезли из русского

языка иностранные слова: *виктория* вместо *победа*, но возможно, когда исчезнувшее слово вновь возвращается и развивается: *презент* — *подарок* и *презентация*, *автомобиль* — *машина* и т.д. И только действительно нужные иностранные слова, которые в той или иной мере часто становятся интернациональными, прочно входят в основной фонд нашего родного языка. Вот почему мы должны различать иностранные и интернациональные слова, а в пределах иностранных слов — разумные и неразумные заимствования. Вообще мы не должны забывать о великой роли и всемирном значении нашего замечательного языка. Мы должны любить, беречь и обогащать его. Уже Ломоносов в предисловии к своей «Российской грамматике» писал: «Карл пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с Богом, французским с друзьями, немецкими с неприятельми, италянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то конечно к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепиие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италянского, сверх того богатство и сильную в изображениях кратость греческого и латинского языка... Меня долговременное в российском слове упражнение о том совершенно уверяет».

Словарь-указатель имен, упомянутых в тексте очерка

Боас (Boas) Франц (1858–1942), амер. лингвист, этнограф и антрополог (языки и культура индейцев, эскимосов).

Виноградов Виктор Владимирович (1894/95–1969), языковед, литературовед, акад. АН СССР. Исследования русск. языка (грамматика, лексика, фразеология и др.), история русск. лит. языка, язык и стиль русских писателей XIX–XX вв. (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский и др.).

Винокур Григорий Осипович (1896–1947), языковед, литературовед. История русского литерат. языка, культура речи, стилистика, язык и стиль русск. писателей (Пушкин, Грибоедов, Маяковский).

Галилей (Galilei) Галилео (1564–1642), итальянский ученый. Установил законы свободного падения тел, инерции, построил первый телескоп, открыл горы на Луне, пятна на Солнце, защищал гелиоцентрическую систему мира, за что подвергнут суду инквизиции (1633), отрекся от идеи «Земля вращается вокруг Солнца» (но известно его «крылатое выражение»: «а все-таки она (Земля) вертится!»). Конец жизни — в ссылке.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), русский писатель («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», «Ревизор», «Шинель»). Изучал фольклор, этнографию (украинские песни и др.).

Горький (Максим Горький) (наст. имя и фамилия — Алексей Максимович Пешков, 1868–1936), русский писатель. Целая эпоха в истории русской литературы и

культуры (от «Старухи Изергиль» до «Жизнь Клима Самгина», «Дело Артамоновых», пьесы «Мещане», «Дачники», «Варвары» и др.). М. Горький организовал культурно-историческую серию «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ).

Даль Владимир Иванович (1801–1872), русск. писатель, этнограф («Пословицы русского народа, 1861–1862), лексикограф. Создал «Толковый словарь живого великорусского языка», 4 тома (1863–1866), за который удостоен звания почетного академика Петерб. АН (1863). По образованию врач, сотрудничал в пушкинском журнале «Современник».

Декарт (Descartes, латинизированное имя Cartesius — Картезий) Рене (1596–1650), французский философ — картезианское направление: дуализм души и тела — «мыслящий» (дух) и «протяженный» (тело) субстанции («мыслю, следовательно существую»); математик, физик и физиолог, родоначальник рационализма.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), русский писатель («Бедные люди», «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» и др.), тончайший психологизм и гуманизм.

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), русский писатель, историк («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза»). Основное сочинение — «История государства Российского» в 12 томах.

Конт (Comte) Огюст (1798–1857), французский философ, один из основоположников позитивизма и социологии.

Леру (Leroux) Пьер (1797–1871), французский философ, основатель христианского социализма (ввел само слово *социализм*). Основой социального преобразования считал моральное изменение общества.

Ломброзо (Lombroso) Чезаре (1835–1909), итальянский психиатр и криминалист.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), первый русский ученый-естествоиспытатель, поэт, заложил основы современного русского лит. языка. Художник, историк. С 1745, первый русский академик Петербургской Академии Наук. В 1755 г. по инициативе Ломоносова основан Московский университет (ныне его имени). Основные труды Ломоносова по филологии — Российская грамматика (1755), Краткое руководство к красноречию... (1748), Краткое руководство к риторике... (1744) и др.

Марр Николай Яковлевич (1864/65–1934), лингвист, востоковед, член Петербургской Академии Наук с 1912 г., затем академик Академии Наук СССР. Труды по кавказскому языкознанию, истории, археологии, этнографии. Общеизвестны многие выдвинутые Марром теории формирования и развития языков. Не все из них научно обоснованы.

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), русский поэт, реформатор поэтического языка (поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Мистерия буфф», «Клоп», «Баня», лирические стихи).

Мольер (Molière, наст. имя и фамилия — Жан Батист Поклен, 1622–1673), французский комедиограф, актер, театральный деятель, реформатор театрального искусства («Мнимый больной», «Тартюф», «Скупой» и многие др.).

Помпадур (Pompadour) Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721–1764), фаворитка французского короля Людовика XV. Оказывала влияние на гос. дела (madame de Pompadour). Осталось выражение: стиль, искусство, мода *помпадур* (Ce Pompadour qui ressemble au gothique fleuri: Balzac).

Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891), украинский и русский филолог-славист, фольклорист, этнограф; чл.-корр. Петербургской Академии Наук. Его труды посвящены проблемам «язык и мышление», «учение о внутренней форме слова», «природа поэзии» и многие др.

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), великий русский поэт, писатель, создатель совр. русск. лит. языка, родоначальник новой русской литературы («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Повести Белкина», «Медный всадник», «Кавказский пленник», сказки, лирика). Редакторская деятельность в журнале «Современник»; переписка, литерат. обзоры, замечания, наблюдения.

Ронсар (Ronsard) Пьер де (1524–1585), французский поэт («Оды», «Гимны», «Сонеты к Елене») — выражены идеалы эпохи Возрождения.

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), русский писатель, чл.-корр. Петербургской Академии Наук (с 1873 г.). «Анна Каренина», «Война и мир», «Воскресение», «Хаджи-Мурат» — перечислены только произведения, известные со школьной скамьи. Пьесы «Плоды просвещения», «Живой труп». Со временем имя Толстого становится все более и более значимым.

Ушаков Дмитрий Николаевич (1873–1942), филолог, чл.-корр. АН СССР. Труды по русской диалектологии, орфографии, орфоэпии. Редактор и составитель «Толкового словаря русского языка» в 4-х томах (1935–1940).

Хлебников Велемир (Виктор Владимирович, 1885–1922), русский поэт, экспериментатор в духе футуризма, «новой мифологии», «языка грядущего человечества».

Чехов Антон Павлович (1860–1904), русский писатель. От фельетонов, коротких юмористических рас-

сказов (под псевдонимом Антоша Чехонте) к повестям и рассказам («Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Степь», «Мужики», «Палата № 6», «Человек в футляре» и др.), пьесам «Вишневый сад», «Чайка», «Три сестры». Сочетание иронии и лирики.

Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт. Эпоха позднего Возрождения с ее гуманист. достижениями и противоречиями. «Много шума из ничего», «Укрощение строптивой», «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Макбет», «Гамлет» и мн. др. Из лирики — знаменитые «Сонеты».

Щедрин Н. — Салтыков Михаил Евграфович (наст. имя и фамилия, традиционно сложилось: Салтыков-Щедрин, Щедрин, 1826–1889), русский писатель-сатирик: «Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», «Господа Головлевы», «Пошехонская старина», «Сказки».

РУБЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ БУДАГОВ
СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
2-е, дополненное издание

Редактор
М.Л. Чинаева

Художник
А.В. Прошкина

Корректор
Л.И. Воробьева

Компьютерная верстка
Л.В. Тарасюк



Лицензия ИД № 01829 от 22 мая 2000 г.

Подписано в печать 30.06.2003.

Формат 60×90¹/₃₂. Бумага офс. № 1.

Офсетная печать. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 2,0. Тираж 1000 экз. Заказ

Издательство «Добросвет-2000»

103009, Москва, а/я 344.

Контактные телефоны: 720-21-05,

430-02-96,

факс: 459-04-53.

Отпечатано с оригинал-макета
в типографии НИИ «Геодезия».
г. Красноармейск, Московская обл.